

Ольга СЕДАКОВА

Всё, и сразу

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММІХ



Всё, и сразу

"Не так гладко, как имф гает,"

не так:

Всё, и сразу, и без фрагментации,
без предостережений благодарности или извета.
Всё, и сразу.

Триумфы, зем наглем пошле,

зем всё, это всё купели и ампамы и мыхе
кожагемелне,
Обмирней мурта морского, тоодрагитъ,
голова многих лог,
Самые, зем амрты,
Кренки, зем аз.

Всё, и сразу.

И не кончатся.

И никто не откликнет.

13.5.2009

Ольга СЕДАКОВА

Всё, и сразу

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММІХ

С 28
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
С. Семенова

ISBN 978-5-89803-200-5

© О. Седакова, 2009

НАЧАЛО КНИГИ

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Иоанну Павлу II

1. Дождь

— Дождь идёт,
а говорят, что Бога нет! —
говорила старуха из наших мест,
няня Варя.

Те, кто говорили, что Бога нет,
ставят теперь свечи,
заказывают молебны,
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идёт,
великий, обильный, неоглядный,
идёт, идёт,
ни к кому не стучится.

2. Ничто

Немощная,
совершенно немощная,
как ничто,
которого не касались творящие руки,
руки надежды,
на чей магнит

поднимается росток из чёрной пашни,
поднимается четверодневный Лазарь,
перевязанный по рукам и ногам
в своём сударе загробном,
в сударе мертвее смерти:

ничто,
совершенное ничто,
душа моя! молчи,
пока тебя *это* не коснулось.

3. Sant Alessio. Roma

Римские ласточки,
ласточки Авентина,
когда вы летите,
крепко зажмурившись

(о как давно я знаю,
что всё, что летит, ослепло —
и поэтому птицы говорят: Господи!
как человек не может),

когда вы летите
неизвестно куда неизвестно откуда
мимо апельсиновых веток и пиний...

беглец возвращается в родительский дом,
в старый и глубокий, как вода в колодце.

Нет, не всё пропадёт,
не всё исчезнет.
Эта никчёмность,
эта никому-не-нужность,
это,
чего не узнают родная мать и невеста,
это не исчезает.

Как хорошо наконец.
Как хорошо, что всё,
чего так хотят, так просят,
за что отдают
самое дорогое, —

что всё это, оказывается, совсем не нужно.

Не узнали — да и кто узнает?
Что осталось-то?
язвы да кости.

Кости сухие, как в долине Иосафата.

ПИСЬМО

To: Professor Donald Nicholl
«Rostherne», Common Lane, Cheshire, UK.

Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд,
в этой стране,
которую Вы так любили
и от которой у нас
ноет уже не сердце, а что-то попроще,
в нашей невыносимой стране
я вспоминаю Ваш дом
на Общей Лужайке,
простой и достойный дом рабочего человека
и Дороти с чаем на подносе
и светлую Вашу кончину.

Святая Русь, Вы говорили,
Китежский град,
где Преподобный делит хлеб с медведем,
где пасхальный Серафим
говорит: Здравствуй, радость моя!
и от его улыбки
загорается звёздами дневное небо,
где каторжные молятся за своих конвойных...

Теперь, быть может, они Вас встречают, Доналд:
как же они не встретят того, кто так им поверил,
Серафим и Преподобный и те, с Кольмы и Магадана,
чьи имена неизвестны и чьи лица,
как Вы говорили,
сложатся в лик Святого Духа.

Доналд,
сердце моё жестоко,
как земля, по которой прокатили тяжёлые танки,

если что на такой взойдёт, то не скоро,
лет через двести.

Ваши слова
о том,
что всё устремляется к неотвратимому миру,
как река к океану,
что всё
изменится и простится,
впадая в общую неизмеримую воду,
в бездну милосердия,
о которой мы знаем, —

Ваши слова не проникнут в него глубоко.
Убитой земле
нечем принять и выхаживать семя.

Вот некрасивое страданье,
о котором Вы спрашивали меня
с прямотой человека, привыкшего молиться.
Не зло, не обида, Доналд,
это всё довольно легко проходит...

Но здесь,
нашей поздней ненастной осенью,
исполненной жалости и согласия,
безумной жалости и безумного согласия,
я вспоминаю Вас
и на другом языке Вашим голосом произносимое слышу
о пасхальном Серафиме,
о Преподобном и его медведе,
о соловецкой молитве,
о шумящей, как северное море,
бездне милосердия.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Как горный голубь в расщелине,
как городская ласточка под стрехой —
за день нахлопочутся, налетаются
и спят себе почивают,
крепко,
как будто ещё не родились —

так и ты, моё сердце,
в гнезде-обиде
сыто, согрето, утешено,
спи себе, почивай,
никого не слушай:

— говорите, дескать, говорите,
говорите, ничего вы не знаете:
знали бы, так молчали,
как я молчу
с самого потопа,
с Ноева винограда.

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ

Кто, когда, зачем,
какой малярной кистью
провёл по этим чертам,
бессмысленным, бывало, как небо,
без цели, конца и названья —
бури трепета, эскадры воздухоплатателя, бирюльки ребёнка —
небо, волнующее деревья
без ветра, и сильнее, чем ветер:
так, что они встают и уходят
от корней своих
и от земли своей
и от племени своего и рода:
о, туда, где мы себя *совсем* не знаем!
в бессмысленное немерцающее небо.

Какой извёсткой, какой глиной,
каким смыслом,
выгодой, страхом и успехом
наглухо, намертво они забиты —
смотровые щели,
слуховые окна,
бойницы в небелёном камне,
в которые, помнится, гляди не нагладишься?

Ах, мой милый Августин,
всё прошло, дорогой Августин,
всё прошло, всё кончилось.
Кончилось обыкновенно.

В МЕТРО. МОСКВА

Вот они, в нишах,
бухие, кривые,
в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах
(— ничего, уже не больно!):
кто на корточках,
кто верхом на урне,
кто возлежит опершись, как грек на луврской вазе.
Надеются, что невидимы,
что обойдётся.

Ну,
братья товарищи!
Как отпраздновали?
Удалось?
Нам тоже.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Американка в двадцать лет...

Молодые люди
умирают на далёких войнах,
в автокатастрофах,
от передозировки и просто от скуки:
дышать-то нечем.

А старики
весёлыми говорливыми стайками —
розовыми, палевыми, светло-серыми —
летают по свету на лайнерах,
плавают на теплоходах,
посещают джунгли, степи, музеи и пирамиды,
лечатся только травами,
едят только безвредное,
молодеют,
занимаются гимнастикой, танцами и рисованьем,
иногда помогают бедным
и глядят голубыми глазами:

человек, как известно, смертен —
но из этого правила,
очень вероятно, возможны исключения.

ЛУГ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР

Кто говорит,
щурится, лепечет, мигает
за этой невыносимой сиренью,
полоумной от красоты,
а ночью включит
соловьиное светопреставленье?

Кто мелькает,
пробегает, как ветер
по тарусским, среднерусским лугам?
тёплый тонкий рваный ветер,
нехотя уходящий
к северным или восточным морям?
Пригибая и отпуская стебли, пробуя, как лепестки и листья,
бессловесные имена
то ли ангелов, то ли каких-то древних богов,
которые роднее, чем люди,
и всегда мне были понятней.

О Господи, да вот они:
Дрёма, Щавель, Куриная слепота,
Медвежий глаз, Мышиный горошек,
Повилика, Нивяник, Кипрей:

вот они, лары мои, пенаты,
лилии полевые
краше Соломона во славе,
вот они, хранители жизни,
вот чего не забудешь,
когда забудешь всё.

AUT NIHIL

Когда они умирают
или приближаются к смерти,
мой споры с ними кончаются,
и теперь я на их стороне.

На стороне слепцов,
заводящих других слепцов в такую яму,
из которой уже не выбраться;
на стороне скупердяев,
которые сидят у родника и сосредоточенно терпят:
сами не пьют и другим не дадут;
на стороне негодяев,
которые изгаляются над тем, чего не сумели
уберечь, как зеницу ока,
а теперь получай по полной!

Даже это лучше, чем смерть.
Даже это
требует какого-то продолженья,
какого-то счастья,
которого все мы,
слепцы, скупцы, негодяи,
почему-то ждали
и которого
так и не видели.

АНГЕЛ РЕЙМСА

Франсуа Федье

Ты готов? —
улыбается этот ангел —
я спрашиваю, хотя знаю,
что ты несомненно готов:
ведь я говорю не кому-нибудь,
а тебе,
человеку, чьё сердце не переживёт измены
земному твоему Королю,
которого здесь всенародно венчали,
и другому Владыке,
Царю Небес, нашему Агнцу,
умирающему в надежде,
что ты меня снова услышишь;
снова и снова,
как каждый вечер
имя моё вызывают колоколами
здесь, в земле превосходной пшеницы
и светлого винограда,
и колос и гроздь
вбирают мой звук —

но всё-таки,
в этом розовом искрошенном камне,
поднимая руку,
отбитую на мировой войне,
всё-таки позволь мне напомнить:
ты готов?
к морю, гладу, трусу, пожару,
нашествию иноплеменных, движимому на ны гневу?

Всё это, несомненно, важно, но я не об этом.

Нет, я не об этом обязан напомнить.

Не за этим меня посылали.

Я говорю:

ты

готов

к невероятному счастью?

ВСЁ, И СРАЗУ

«Не так даю, как мир даёт»,
не так:
всё, и сразу, и без размышлений,
без требований благодарности или отчета:
всё, и сразу.

Быстрее, чем падает молния,
поразительней,
чем всё, что вы видели и слышали и можете вообразить,
прекрасней шума морского,
голоса многих вод,
сильней, чем смерть,
крепче, чем ад.

Всё, и сразу.
И не кончится.
И никто не отнимет.

НАЧАЛА. КНИГИ

*До книг. Школьные тетради
(1965–1967)*



Это опять беспокойство
соков и черенков
в стройном и странном устройстве
выплеснет — где ни укройся —
кляксы черновиков.

Здесь уже вечностью пахнет,
будто на веки веков
всхлипы, круженья, размахи,
звуки случайных шагов,

труд и слепые исканья
вздутых, как вены, корней...
Тенью пересекаю
сутолоку теней —

и неразборчиво брезжит
в тысяче быстрых завес
эта старинная свежесть,
жизнь и взволнованный лес.

1965

АЛЕКСЕЙ РИМСКИЙ УГОДНИК

...Но я люблю мой край убогий,
заносы, колтуны ветлы.
Глядят серебряные боги,
красой исполнивши углы.

У невидали звёзд и рек,
руками выразив страданье,
стоит в тяжёлом ожиданье
Алексий, Божий человек:

— Уж легче мне нести вериги
и суету сует поправить,
чем снова знаков сил великих
в грядущих днях не увидеть.

Химеру старую разрушить,
иную провести между —
отпущенную смертью душу
семь раз на это положу.

1966



Однажды, когда я умру до конца
и белый день опадёт с лица,
услышу я, как спросонок:
по тонким дранкам заборов моих
бежит, спотыкаясь, весёлый мотив:
их трогает палкой ребёнок.

И каждая нота в мотиве таком
сама по себе и к тому же с ледком,
как буквы в Клину и Коломне...
И буду я думать: играй же, играй —
про отчий мой край,
про чуждый мой край,
про то, что я знаю, а ты не узнай —
про то, что никак не припомню.

1967

*В горсть твою
(1967–1969)*

ШИПОВНИК

Душа воспитала шиповник,
как братьев его — чернозём.
Когда вас никто не упомнит,
шиповник помянет добром.

Вы знаете правду другую.
Но вы не слышали о том,
что отперли клетку грудную
и пролили воду со льдом.

И если пустот не заполнит
твой запах, твой шаг во дворе,
душа воспитала шиповник
на пляски и дом мошкаре.

1967

*Переводные картинки
(1969–1970)*



Пить, пить! водяные часы.
И мимо все, мимо: пить! пить!
Пусти меня, дай мне дожить
хотя бы до той полосы.

До той полосы ножевой,
где будет песок надо мной,
над быстрой и беглой водой
за той полосой ножевой.

Кверх доньшком — и на верхах,
смежая мгновенную тишь,
забьётся в песочных часах
песчаное сердце: тш! тш...

1970



Я жизнь,
которая хочет жить
в живом окружении жизни,
которая хочет жить.

Альберт Швейцер

Я жизнь в порыве жить.
Из горла закипая,
побегом выбегаю
к живым в порыве жить.

Сквозняк за рукавом.
Я с верхнего регистра
качу, цепляя искры
в растущий острый ком.

Играет угольком
погоня за гоненьем.
Я жизнь. Я непощенье
в порыве жить в живом.

1971

In quarto
(1972)

ПОДРАЖАНИЕ
«ПОДРАЖАНИЯМ КОРАНУ»

Чёрной раковиной с кромкой,
чёрной шалью костяной
обернись, душа пророка!
Увлажнили флейты око,
слух насытился хурмой.

И душе моей ликуя,
все подлунные дела,
как жемчужницу пустую,
кинет под ноги Алла!

1972

Клязьма и Яуза
(1973)

◇ ◇ ◇

В это зыбкое скопление,
в комариные столпы,
в неразборчивое тление
истолчённой скорлупы

ты идёшь, как содроганье
по листве старинных ив,
мошкеры не раздвигая,
луч лучами не прикрыв.

Что душа? несчастый случай,
птичий грай и дачный сон.
Но столбняк её летучий
жёстким золотом пронзён.

1973



Неужели, Мария, только рамы скрипят,
только стёкла болят и трепещут?
Если это не сад —
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.

Если это не сад, если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,

где не видно ветвей,
но дыханье темней
и надёжней лекарство ночное...
Я не знаю, Мария, болезни моей.
Это сад мой стоит надо мною.

1973

ГОСТИ В ДЕТСТВЕ

В двух шагах от притворённой
двери в детскую, за щель
шепчут стайкой оперённой
в крыльях высохших плащей.

Что ни скажут — позабудут.
Чем сулятся — не поймут.
Вместе выйдут, ливнем будут.
Только слова не возьмут.

И стоит оно слезами
изголовья моего:
словно ангелы сказали,
не запомнив, для чего.

1973

Строгие мотивы
(1974–1975)

ПЛАЧ

Вот она, строгая жизнь, посмотри, на прорехе прореха,
зеркало около губ, эхо, глядящее в эхо.

И сухие глаза закрывая, волосок к волоску подбирая,
трудные швы тербит и кивает, себя обрывая...

Как ты уйдёшь от меня, по-другому живая?

Не покидай, говорю, я ещё и ещё залатаю.

Видишь, как сыплется ветхая ткань, как иголлка дрожит
золотая...

— Что мне за дело? — я слышу слова, но уже не сыщу
утешений,

только на цыпочки встану и шарю вверху, и летят
из распахнутой тени
стаи щебечущих, плачущих, беглых и пьющих растений...

1975

ПАМЯТИ ОДНОЙ СТАРУХИ

Евгении Пахаревой

О жизни линиялой, о блюдце разбитом, о лестнице шаткой...
А там, говорит, темнота, но она не мешает, она не мешает.
Нас мало кто видит, а мы наблюдаем украдкой,
как век коротают, как крошки в ладонь заматают.

Мне время язык развязало, но губ не разжало.
Так дай мне пройти, не тревожа жужжащего мрака.
Кто выберет слово, тот ахнет и выдернет жало,
и сердце попросит земли, как пчелиная ранка.

А там, говорит, темнота, и не знают глаза человечьи,
какие птенцы под окном, и зачем они бьются,
и просятся в окна, и сладко так, сладко щебечут
о лестнице шаткой, о жизни, о жизни, о блюдце.

1975

ФИЛЕМОН И БАВКИДА

Любовь молодая глядит из ветвей,
как сердце её умоляет: добей!

А старая ходит с целебной травой.
Сосед её знает, и путник чужой

глядит, как душиста её нищета:
и дом без ребёнка, и двор без скота.

Его за деревню выводят с утра
вдовец и вдовица, отец и сестра.

И он говорит, обернувшись на дом:
Не нужно прощаться! мы вместе пойдём.

И вот они видят, ступая легко,
как жизни не жалко, как жизнь далеко:

в притёртой коробке, в зашитом мешке,
в напёрстке, в иголке, в игольном ушке.

1975

*Дикий шиповник.
Легенды и фантазии (1978)*

ДИКИЙ ШИПОВНИК

Ты развернёшься в расширенном сердце страданья,
дикий шиповник,

о,
ранящий сад мирозданья.

Дикий шиповник и белый, белее любого.
Тот, кто тебя назовёт, переспорит Иова.

Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда,
глаз не спуская и рук не снимая с ограды.

Дикий шиповник
идёт, как садовник суровый,
не знающий страха,
с розой пунцовой,
со спрятанной раной участка под дикой рубахой.

ЛЕГЕНДА ВТОРАЯ

Среди путей, вручённых сердцу,
есть путь, пробитый в оны дни:
переселенцы, погорельцы
и все, кто ходит, как они, —

в груди удерживая душу,
одежду стягивая, шаг
твердя за шагом — чтоб не слушать
надежды кнут и свист в ушах.

Кто знал, что Бог — попутный ветер? —
ветров враждебная семья,
чтоб выпрямиться при ответе
и дрогнуть, противостоя,

и от любви на землю пасть,
и тело крепкое проклясть —
ларец, закрытый на земле.

И руки так они согнули,
как будто Богу протянули
вино в запаянном стекле:

— Открой же наконец, испробуй,
таков ли вкус его и вид,
как даль, настоящая злобой,
Тебя предчувствовать велит!

ЛЕГЕНДА ШЕСТАЯ

Когда гудит судьба большая,
как ветер, путника смущая,
одежду треплет — и своя
душа завидней, чем чужая, —
монах старинный вопрошает:
— Скажи, кому подобен я? —

и видит: зеркало живое,
крылатое, сторожевое,
журча, спускается к нему —
и отражает ту же тьму,
какую он борол. Но в нём,
в дыханье зрячем за стеклом,
она — как облако цветное,
окружена широким днём.

Так чья-нибудь душа живая
не вытерпит прямого дня
и, горе горем прикрывая
и слово словом заслоня,
тьму путевую соберёт
вокруг себя — и в ней пройдёт.

И в ней огонь его горит.
И свет, как притча, говорит.

Тристан и Изольда
(1978–1982)

Светлой памяти
Владимира Ивановича Хвостина

ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Послушайте, добрые люди,
повесть о смерти и любви.
Послушайте, кто хочет,
ведь это у всех в крови.
Ведь сердце, как хлеба, ищет
и так благодарит,
когда кто-то убит,
и кто-то забыт,
и кто-то один, как мы.

Монашеское платье
сошьём себе из тьмы,
холодной воды попросим
и северной зимы:
она прекрасна, как топаз,
но с трещиной внутри.
Как белый топаз у самых глаз,
когда сидят облокотясь
и глядят на фонари.

Судьба похожа на судьбу
и больше ни на что:
ни на глядящую к нам даль,
ни на щит, ни на рог, ни на Грааль,
ни на то, что у ворот.
И кто это знает, тому не жаль,
что свет, как снег, пройдёт.

О будь, кем хочешь, душа моя,
но милосердна будь:

мы здесь с котомкой бытия
у выхода медлим — и вижу я,
что всем ужасен путь.

Тебе понравятся они
и весь рассказ о них.
Быть может, нас и нет давно,
но, как вода вымывает дно,
так мы, говоря, говорим одно:
слушайте живых!

Когда я начинаю речь,
мне кажется, я ловлю
одежды уходящий край,
и кажется, я говорю: Прощай,
не узнавай меня, но знай,
что я, как все, люблю.

И если это только тлен,
и если это в аду —
я на коленях у колен
стою и глаз не сведу.
И если дальше говорить,
глаза закрыть и слова забыть
и руки разжать в уме —
одежда будет говорить,
как кровь моя, во мне.

Я буду лгать, но не обрываю:
Я ведь знаю, что со мной,
я знаю, что руки мои в крови
и сердце под землёй.

Но свет, который мне светом был
и третий свет надо мной носил
в стране небытия, —
был жизнью моей, и правдой был,
и больше мной, чем я.

ВСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Где кто-то идёт — там кто-то глядит
и думает о нём.

И этот взгляд, как дупло, открыт,
и в том дупле свеча горит
и стоит подводный дом.

А кто решил, что он один,
тот не знает ничего.
Он сам себе не господин —
и доволен про него.

Но странно, что поступок
уходит в глубину
и там живёт, как Ланцелот,
и видит, что время над ним ведёт
невысокую волну.

Не знаю, кто меня смущал
и чья во мне вина,
но жизнь коротка, но жизнь, мой друг, —
стеклянный подарок, упавший из рук.
А смерть длинна, как всё вокруг,
а смерть длинна, длинна.

Одна вода у неё впереди,
и тысячу раз мне жаль,
что она должна и должна идти,
как будто сама — не даль.

И радость ей по пояс,
по щиколотку печаль.

Когда я засыпаю,
свой голос слышу я:

— Одна свеча в твоей руке,
любимая моя! —

одна свеча в её руке,
повёрнутая вниз:
как будто подняли глаза —
и молча разошлись.

ВСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Я северную арфу
последний раз возьму
и музыку слепую,
прощаясь, обниму:
я так любила этот лад,
этот свет, влюблённый в тьму.

Ничто не кончится собой,
как говорила ты, —
ни злом, ни ядом, ни клеветой,
ни раной, к сердцу привитой,
ни даже смертью молодой,
перекрестившей над собой
цветущие кусты.

Темны твои рассказы,
но вспыхивают вдруг,
как тысяча цветных камней
на тысяче гибких рук, —
и видишь: никого вокруг,
и только свет вокруг.

Попросим же, чтобы и нам
стоять, как свет кругом.
И будем строить дом из слёз
о том, что сделать нам пришлось
и вспоминать потом.

А ты иди, Господь с тобой,
ты ешь свой хлеб, свой путь земной —
неизвестно куда, но прочь.
И луг тяжёлый и цветной
за тобой задвигает ночь.

И если нас судьба вручит
несчастнейшей звезде —
дух веет, где захочет.
А мы живём везде.

Старые песни

Первая тетрадь (1980–1981)

Что белеется на горе зелёной?
А. С. Пушкин

ОБИДА

Что же ты, злая обида?
я усну, а ты не засыпаешь,
я проснусь, а ты давно проснулась
и смотришь на меня, как гадалка.

Или скажешь, кто меня обидел?
Нет таких, над всеми Бог единый.
Кому нужно — даёт Он волю,
у кого не нужно — отбирает.

Или жизнь меня не полюбила?
Ах, неправда, любит и жалеет,
бережёт в потаённом месте
и достанет, только пожелает,
поглядит, как никто не умеет.

Что же ты, злая обида,
сидишь предо мной, как гадалка?

Или скажешь, что живу я плохо,
обижаю больных и несчастных...

Вторая тетрадь (1982)

Посвящается бабушке

СМЕЛОСТЬ И МИЛОСТЬ

Солнце светит на правых и неправых,
и земля нигде себя не хуже:
хочешь, иди на восток, на запад
или куда тебе скажут,
хочешь — дома оставайся.

Смелость правит кораблями
на океане великом.
Милость качает разум,
как глубокую дряхлую люльку.

Кто знает смелость, знает и милость,
потому что они — как сёстры:
смелость легче всего на свете,
легче всех дел — милосердьё.

Третья тетрадь (1982)



*Памяти бабушки
Дарьи Семёновны Седаковой*

— Пойдём, пойдём, моя радость,
пойдём с тобой по нашему саду,
поглядим, что сделалось на свете!

Подай ты мне, голубчик, руку,
принеси мою старую клюшку.
Пойдём, а то лето проходит.

Ничего, что я лежу в могиле, —
чего человек не забудет!
Из сада видно мелкую реку.
в реке видно каждую рыбу.

*Прибавления к «Старым песням»
(1990–1992)*

ПОСВЯЩЕНИЕ

Помни, говорю я, помни,
помни, говорю и плачу:

всё покинет, всё переменится
и сама надежда убивает.

Океан не впадает в реку;
река не возвращается к истокам;
время никого не пощадило —

но я люблю тебя, как будто
всё это было и бывает.



Плакал Адам, но его не простили.
И не позволили вернуться
туда, где мы только и живы:

— Хочешь своего, своё и получишь.
И что тебе делать такому
там, где сердце хочет, как Бог великий:
там, где сердце — сиянье и даренье.



Холод мира
кто-нибудь согреет.

Мёртвое сердце
кто-нибудь поднимет.

Этих чудиц
кто-нибудь возьмёт за руку,
как опалевшего ребёнка:

— Пойдём, я покажу тебе такое,
чего ты никогда не видел!

1990–1992

Ворота. Окна. Арки
(1979–1983)

ДАВИД ПОЁТ САУЛУ

Да, мой господин, и душа для души —
не врач и не умная стража.
(Ты слышишь, как струны мои хороши?)
Не мать, не сестра, а селенье в глуши
и долгая зимняя пряжа.

Холодное время, не видно огней,
темно и утешиться нечем.
Душа твоя плачет о множестве дней,
о тайне своей и о шуме морей.
Есть многие лучше, но пусть за моей
она проведёт этот вечер.

И что человек, что его берегут? —
гнездо разоренья и стона.
Зачем его птицы небесные вьют?
Я видел, как прут заплетается в прут.
И знаешь ли, царь? не лекарство, а труд —
душа для души, и протянется тут,
как мужи воюют, как жены прядут
руно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль,
какое обилье печали!
Ты видишь мою безответную даль,
где я, как убитый, лежу, и едва ль
кто знает меня и кому-нибудь жаль,
что я променяю себя на печаль,
что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою,
болезнь моего песнопенья!
Как пленник, захваченный в быстром бою,
считает в ему неизвестном краю
знакомые звёзды — так я узнаю
картину созвездия, гибель мою,
чьё имя — как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,
мы все. И верней, чем другие,
я слышу: невидим и непобедим
сей внутренний ветер. Мы всё отдадим
за эту равнину, куда ни один
ещё не дошёл, — и, дожив до седин,
мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когда
ребёнок, ещё бессловесный,
поднимется ночью — и смотрит туда,
куда не глядят, не уйдя без следа,
шатаясь и плача. Какая звезда
его вызывает? какая дуда
каких заклинателей? —

Вечное да
такого пространства, что, царь мой, тогда
уже ничего — ни стыда, ни суда,
ни милости даже: оттуда сюда
мы вынесли всё, и вошли. И вода
несёт, и внушает, и знает, куда...
Ни тайны, ни птицы небесной.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

Печаль таинственна, и сила глубока.
Семь тысяч лет в какой-нибудь долине
она лежала, и когтями ледника
её меняли и ценили.

А то поднимется, как полный водоём, —
и листьям хочется сознания.
И хочется глядеть в неосвещённый дом,
где спит, как ливень, мирозданье.

2

Ни морем, ни дровом, ни крепкой звездой,
ни ночью глубокой, ни днём превеликим —
ничем не утешится разум земной,
но только любовью отца и владыки.

Ты, слово моё, как сады в глубине,
ты, слава моя, как сады и ограды,
как может больной поклониться земле —
тому, чего нет, чего больше не надо.

3

Блудный сын возвратится, Иосиф придёт в Ханаан
молодым, как всегда, и прекрасным сновидцем.
И вода глубины, и огонь перевёрнутых стран
снова будущим будут и в будущем будут двоиться.

— Поднимись, блудный сын, ты забыл, как живут на земле.
Погляди, как малейшее мир победит и пребудет.
И вода есть зола неизвестных огней, и в золе
держит наш Господин наше счастье и мёртвого будит.

4

Я не могу подумать о тебе,
чтобы меня не поразило горе.
И странно это — почему?
Есть, говорят, сверхтяжёлые звёзды.
Кажется мне, что любовь тяжела,
как будто падает.
Она всегда
как будто падает —
и не как лист на воду
и не как камень с высоты —
нет, как разумнейшее существо,
лицом, ладонями, локтями
сползая по какой-то кладке.

5

Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.
Да не сдадимся низким целям.
Так реки, падая, твердят ущельям:
всегда есть шаг,
всегда есть ход,
всегда есть путь.

Как труп, лежу я где-нибудь —
или в начале наважденья?
Но кто попробует? Кто вытерпит виденье,
глядящее в пустую грудь?

Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.

6

Когда настанет час,
и молот взмахнутый сойдется с наковальной,
и позовут людей от родины печальной,
какого от какой, какого от кого,
от сна, от палача, от сердца своего,
от всей немилости.

И мученики встанут
и скажут: Не зачисли им за грех!
Мы точно знаем, что они не знают,
что делают.

Кто это знает?
кто знает то, что больше всех?

Как молнии мгновенные деревья
и разветвлённые, как дуб,
зло падает, уничтожая ум.
Кто, кто поможет им не жечь, не мучить,
не убивать?

7

Я так люблю
эти дома, принадлежащие молитве,
эти огни, принадлежащие любви,
и в долгом плаванье Часов или Вечерни
голос, как голубь с известием земли:
— Ну поднимись, несчастное создание,
и поделись со мной, чем Бог тебе подаст;
мы вместе так и так,
и на руках страданья,
как дитя простое, укачают нас.

ГОРНАЯ ОДА

I

Где высота сама себя играет
на маленьком органе деревенском
и на глазах лазурь изображает,
но голосом не взрослым и не женским —
а где-нибудь в долине удивлённой
водой, перебегающей повсюду,
Моравии, Баварии зелёной
перемывая чистую посуду,
там в каменный кувшин с колоколами
упрятано готическое пламя.

II

Пусть готика, как это ей природно,
направит кверху вектор вертикали,
чтоб там она закончилась свободно,
как некогда преданье о Граале,
и копьеносцы и каменотёсы
на острие иголки безвоздушной
вдруг задохнулись от надежды тесной
и не коснулись чаши невозможной —
а небо только падает глубоко,
как тот, кто спит на берегу потока.

III

Он спит и управляет сновиденьем,
как плоскодонной лодкой на порогах,

и звук, приподнимаясь над селеньем,
кончается в таких же одиноких,
и все они — его земля родная,
и выбрать невозможно, и не нужно,
переправляя их и пропадая
в существовании, в воде воздушной,
где, говорят, мы жили, как другие,
как снег в горах, как реки в летаргии.

IV

Скажи, скажи на языке Кирилла
или на том, какого не бывало,
как снисхождение с нами говорило
и небо прятало, как покрывало.
Есть имена, похожие на чины.
Они живут, как колокола в ущелье,
как непонятной верности причины
и как игра, не знающая цели,
когда она летит одушевлённо
на свет сторожевого легиона.

V

Не родственный ни близости, ни дали,
их колокол, раскачиваясь в нише,
есть миг, когда они существовали, —
и в этот миг они спускались ниже.
То Руфью отзываясь, то Рахилью,
глядела жизнь, как рядом пировали,
не зная, для чего её растили
и где конец её чужой печали.
Другим хотелось много, ей — едва ли:
лечь и лежать, и чтоб её назвали.

VI

Лежать, чтобы её покоил голос,
который наклоняет котловины
и выдувает полости, и полость
в вино преобразует сердцевины.
Чтобы одно звучание носило,
как крепкое крыло возникновенья,
над пропастью без имени и силы,
но страшного, живого тяготенья,
и время шло, и время было слово,
не называя ничего другого.

VII

Чтоб горы — драгоценная равнина,
увиденная оком недреманным
взволнованных озёр, стоящих выну
над тем многоочитым океаном, —
глядели, как она была любима
и как она спускалась по ступеням,
по каменным порогам, по долинам
с тысячекратно узанным терпеньем.
И, наблюдая, как она терялась,
сама земля без меры повторялась.

VIII

И снился ей какой-то сон случайный,
почти печальный сон исчезновенья,
неведомо печальный. Но печали
он сразу же задумал удвоенье:
как будто дети, умершие рано,
как над ручьем, играющим в апреле,
стояли над своей могилой странной
и ни жалеть, ни плакать не умели.
И отражённых обликов мученье
им было неизвестно, как ученье.

IX

И так они стояли и молчали.
И только брали из случайной смерти
всё то, что им напрасно обещали,
чего никто не пробовал на свете —
но каждый ждал. И вынынчил, как чадо,
и, плача, передал его загробью:
— Я только тень, но большего не надо.
Подобие, влюблённое в подобье.
И эту тень, как чашку с белым светом,
возьми себе, и позабудь об этом.

X

Не на такой ли круглой вертикали
мне дар передавали безвозмездный,
и золотом, как взглядом, отыскивали
и разрешили от надежды тесной?
Не тайны и не силы и не бездну,
мне показали дерево простое —
и странно было знать, что я исчезну,
когда листва заговорит с листвою,
и буду спать в корнях его глубоких,
как спят деревья при живых потоках.

XI

Всё, что исчезнет, будет как дорога.
И лёжа мы уходим в путь невольный,
где круглая, как яблоко, тревога
катается в котомке колокольной:
скажи, скажи, на языке награды,
на языке, спускавшемся в загробье:
есть дудка, открывающая клады, —
звучащее подобие пощады —
и клад, и смысл, и образец подобья.

*Стансы в манере Александра Попа
(1979–1980)*

СТАНСЫ ПЕРВЫЕ

Елене Шварц

For ever separate, and for ever near.
A. Pope

1

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть: допустим, на шоссе
винтообразный вихрь и чёрный щит —
и всё распалось, как метеорит.
Есть времени цветок, он так цветёт,
что мозг, как хризопраз, передаёт
в одну ладонь, в один глубокий крах.
И это правда. Остальное — прах.

2

Не смерти, нет — и что нам в этом зле,
в грехе и смерти? в каменной золе
других созданий, рвавшихся сюда
и съеденных пространством, как звезда.
А жизнь просторна, жизнь живёт при нас,
любезна слуху, сладостна для глаз,
и славно жить, как будто на холмах
с любимым другом ехать на санях.

3

Какой же друг? Я говорю: мой друг —
и вижу: звук описывает круг,
потом другой и крутит эту нить,
отвыкнув плакать, перестав просить.
Мой друг! Я не поверю никому,
что жизнь есть сон и снится одному —
и я свободно размыкаю круг:
благослови тебя Господь, мой друг.

4

И ты, надежда. Ты равняешь всех:
все водят, это прячется: в орех,
в ближайший миг, где шумно и черно,
в сушеный мак, в горчичное зерно —
ох, знаю я: в мельчайшую из стран
ты катишь свой мгновенный балаган,
тройные радуги, злачёный мрак.
А безнадежность светит нам, и как!

5

Кто день за днём, как нищий в поездах,
с притворными слезами на глазах
в ворованную шапку собирал —
тот, безнадежность, знает твой хорал.
Он знает это зданье голосов,
идущее в черновике лесов
всё выше, выше — и всегда назад.
И сам поправит, если исказят.

6

Так пусть же нам покажут ночь в горах,
огонь в астрономических садах
и яблоню в одежде без конца
как бы внутри несчастного лица.
Её одежда не начнётся там,
где лепестки начнутся: по пятам
за ней пойдут соцветья и цветы
в арктическую рощу высоты.

7

Там страшно, друг мой. Там горит Арктур
и крутятся шары. Там тьма фигур
с пристрастьем наблюдает мир иной
и видит нас сверкающей спиной:
как будто мы за ней идти должны
из тьмы глубоководной глубины.
И мы идём, глотая пыль и соль,
как шествие, когда вошёл король

8

и движется по улицам своим
к собору кафедральному. Пред ним
опустошенье. Позади него —
миллионом спичек чиркнув, вещество
расходится на лица и дома,
столбы, как их расставила чума,
простые арки, плаванье и звон...
Но *что* он видит — знает только он.

9

Ни смерть, ни жизнь, ни зверь, ни человек
и ни надежды безнадежный бег,
ни то, что мы оправданы давно,
ни то, что в глубине моей темно,
не есть желанье, ни желанья часть.

Желанье — тайна. О, желанье — пасть
и не поднять несчастного лица.
Не так, как сын перед лицом отца:

10

как пред болящим — внутренняя боль.
И это соль, и осолится соль.

СТАНСЫ ВТОРЫЕ. НА СМЕРТЬ КОТЁНКА

Ach, wie nichtig,
ach wie flüchtig...
Хорал И. С. Баха

1

Что делает он там, где нет его?
Где вечным ливнем льётся существо,
как бедный плащик, обмывая прах
в случайных складках на моих руках,
не менее случайных. Разве сон
переживает душу, как озон
свою грозу — и говорит о ней
умней и тише, тише и умней.

2

Тогда крути, Фортуна, колесо,
тень мнимости, Сатурново кольцо,
тарелку у жонглёра на шесте
в обворожившей сердце пустоте.
Но даже на тарелке пылевой,
где каждый обратится в призрак свой,
мы будем ждать в земле из ничего,
прижав к груди больное существо.

3

Больное, ибо смерть — болезнь ума,
не более. Болезнь и эта тьма,
в которую он смотрит, прям и нем,
Бог знает где, Бог знает перед кем.

На твой точильный круг, на быстрый шум,
исчезновенье! пусть наложит ум
свой нож тупой — и искры засвистят,
и образы бессмертные взлетят.

4

Вращаясь, как Сатурново кольцо, —
о горе. Кто кому глядел в лицо?
кто знал кого? к тому, что за спиной,
оглянется — и образ соляной
останется. Мужайся, жизнь моя:
мы убегаем из небытия
огромной лентой, вьющимся шнуром,
гуськом предвечным над защитным рвом.

5

Но если бы с обидой или злом
они являлись! колотым стеклом
кидая нам в глаза — и в тот же миг
живые слёзы вымывали их!
Ну, поднимись! Лежать в уме ничком
немыслимо; держаться ни на чём,
не быть ничем, крошиться, как слюда,
катиться, как шеольская вода!

6

галактика? воронка? водопад?
рассыпанный и распылённый клад?
но что-то там болеет: бедный путь,
как ящерка, мелькнувший где-нибудь,
среди камней, быть может, мировых,
бесценных, славных. Только что нам в них.
И нужен облик, видимый, как снег:
он колыбель, качающая всех.

7

Живое живо в глубочайшем сне,
в забвении, в рассеянье, на дне
какого-то челна: не дух, не плоть,
но вся кудель чудес Твоих, Господь.
Оно признание — собеседник Твой.
Оно сознания ливень проливной.
Под шум воды на крышах шумовых
оно заснуло на руках Твоих.

8

Грядущее — как степь, как решето.
Не бойся и не жалуйся: ничто
здесь всё равно не будет *больше* слёз.
Всё остальное пусто, как мороз
арктический. А он себя сомкнул,
и холмик смерти быстро обогнул,
и побежал, словно увидел цель.
И в эту шерсть уходит взгляд, как в щель.

9

И всё пройдет, и всё летит, как снег:
изнанка зренья, оболочка век,
пустого сновиденья вещество
или измученное существо —
неважно. Всё уйдет из глаз моих
по образам и по ступеням их,
всё катится, как некий тёмный шар,
разматывая *имени* пожар.

СТАНСЫ ТРЕТЬИ. ВИНО И ПЛАВАНИЕ

Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo senza gente...
Dante. Inf. XXVI, 17–18

1

Существование — смутное стекло.
Военный марш или роман Лакло,
или трактат о фауне озёр —
мне всё равно. Гадательный прибор
повсюду крылья пробует, горит
и в зрении, как бабочка, сорит
другими временами, и другой
моток пространства катит пред собой.

2

Я не люблю старинных небылиц
о призраках убитых и убийц,
и если их нацедит ночь сама —
тяжёлый хмель трусливого ума
я выплесну: судьбой теней своих
пусть бесы потешают псов цепных
и, чью-то совесть подцепив крючком,
показывают в облике ручном —

3

чур, чур, меня! сам воздух, самый ход
его: подобье капилляров, сот,
безвидных гротов, кованных оград —
не пустится на этот маскарад.

Но полночь — кубок; я возьму его,
и смертных чувств простое вещество,
бесстрашное — да будет вживлено
в поминовенье, сладкое вино.

4

Оно одно — обширная, ничья,
единственная родина, края,
в которых, кроме края, ничего.
Когда-нибудь другое существо
возьмёт его и вспомнит обо мне,
как будто я давно уже вовне
или не то, что здесь передо мной
стоит, пренасыщаясь глубиной...

5

Ну, колеса тяжёлый поворот:
ход краткостей, верхов, низов, долгот,
машина звука, плаванье в уме,
движение по неведомой кайме.
Не правда ли? нам жить не надоест,
пока мы не увидим Южный Крест —
и ради состраданья звёзд чужих
употребим остаток чувств земных!

6

Бездейственное плаванье влечёт
особенно: как будто дальше ход,
похожий на мышинный. Вот туда
с тяжёлым стоном тянется вода.
О, говорят, что есть ещё места,
где здешнего пространства теснота
пульсирует и кажется другой —
проколотой таинственной иглой.

7

Внутри? о да. Но лучше не внутри,
а где-нибудь. Скорее оботри
от внутреннего драгоценный жар,
кристальный куб, пересечённый шар:
оно мелькает, как летучий прах,
всё счастья ждет, всё топчется в дверях,
всё ноет, будто ты чего жалел
или свой хлеб перед голодным ел —

8

и ну его. Уж если быть, то быть
несчастливыми без оговорок: плыть
прямо в прозор двух щёлкающих скал
и, как ребёнок, знать, что ты пропал:
— Смотрите же вы все, как я хочу,
чтоб вы меня не знали! как взлечу
куда-нибудь из ваших чёрных дыр —
вы, чудища, и ты, проклятый мир!

9

Как сироты, привыкнущие красть,
врать, сквернословить, прятаться — и власть
всё думать, думать, думать что есть сил,
что лучше бы их этот Бог забыл,
что Он как боль в кишках, как соль в глазах... —
вдруг видят сон: неразличимый прах
расходится, спокойно отстоя.
И кто-то молвит: — Умница моя,

10

я знаю кое-что о чудесах:
они как часовые на часах.

**СТАНСЫ ЧЕТВЕРТЫЕ.
ПАМЯТИ НАБОКОВА**

And then the gradual and dual blue,
As night unites the viewer and the view.
Pale Fire

1

Есть некий дар, не больший из даров;
как бы расположение шаров,
почти бильярд — но если сразу сто,
задетые одним, летят в ничто.
Мой бедный друг, воображаешь ты
корзину беспримерной темноты?
Ничуть не так. Вот замысел игры:
его объём есть остриё иглы.

2

Дремучая зима, солнцеворот,
когда мороз свою лучину жжёт.
Суровое созвездье-полуконь
стоит, нацелясь в низовой огонь
огнём другим — и чу, свистит стрела.
И чучело альпийского орла
за перевалом брэнности земной,
словно рожок, беседует со мной.

3

Как странно: быть, не быть, потом начать
немного быть; сличать и различать,
как бабочка, летающий шатёр
с углом и лампой, с линиями штор,

кончать одно и думать о другом,
как облако, наполнить целый дом,
сгуститься в ларчик, кинуться в иглу
и вместе с ней скатиться в щель в углу.

4

И триста лет лежать себе в пыли —
и вдруг звучать, как бой часов вдали.

5

Неслышимая музыка звучней.
Собрав мирьяд рассеянных лучей,
она для нас играет за углом
огромным зажигательным стеклом.
И нравится её простая весть
о том, что всё не здесь — и снова здесь,
что искрится хрусталик слуховой,
как снежный порошок в бездне меховой...

6

Что это, арфа, клавиши? мой друг,
ничто нам не напомнит этот звук.
То в Альпах непроглядная пурга,
то лёгкий дух трубит в свои рога.
То дух созвучий, двух и снова двух,
и тот далёко отлетевший дух,
который наполняет этот стих,
как фульский кубок в глубинах морских.

7

Среди старинных стёсанных монет
и денег государств, которых нет,

дукатов и цехинов и гиней —
среди всего, что умный казначей
собрал по свету и послал назад,
где всё сочтёт подводный нумизмат, —
дух говорит, как клады из волны,
изъеденные солью глубины.

8

Клянусь: и дар, и несравненный труд,
и этот всевещающий сосуд,
который сохраняют времена
для некоего нового вина,
мы берегли ревнивей, чем король
из неизвестной Фулы: только соль
возьмёт его, когда я предпочту,
как пустота, увидеть пустоту.

9

Затем, что, замирая перед ней,
живая плоть исполнена теней
или видений: дуга на ожог,
бессмертие играет, как рожок.
И сладостно меж образов своих,
шаров, шатров и коридоров их
существовать. Но сладостней всего
уйти из них, не помня ничего.

10

А эти все, кто мучает других,
кто скверными губами скверный стих
разжёвывает, кто суёт в гробы
учебники рабов: «мы не рабы», —
кто хочет зла, как будто зло — еда,

и сам себе отвратен навсегда
и выветрится, как кухонный чад, —
мне жалко их. Но пусть они молчат.

11

Никто не знает, где он будет жив
и где живёт, разлуку разложив
на колебанья зрительной волны
фосфоресцирующей глубины,
как дух и тень. И всё соединит,
и всё рассыплет. Царственный магнит,
дар привлекает множество даров
и катится, как ливень из шаров.

12

Так выпьем кубок, сложенный, как соль,
за эту жизнь, похожую на боль —
и всё же на пастушеский рожок.
За дальний звук, который ум зажжёт
и сердце отогрел — и не могло
перемениться смутное стекло.
Ещё за то, что мы прискорбно злы.
За милосердие — остриё иглы.

КОДА

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть. Как белка в колесе,
он крутит свой воображимый рок.
Но слог его, высокий, как порог,
выводит с освещённого крыльца
в каком-то заполярье без конца,
где всё стрекочет с острия копья
кузнечиком в траве небытия.
И если мы туда скосим глаза,
то самый звук случаен, как слеза.

Стелы и надписи (1982)

*Нине Брагинской, проникновенно
изучившей этот предмет*

МАЛЬЧИК, СТАРИК И СОБАКА

Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье
женщины или старухи.

Откуда нам знать,
кем человек отразится, глядя в глубокую воду,
гладкую, как алебастр?

Может, и так:
мальчик, собака, старик.
Мальчик особенно грустен.
— Я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь.
— Что же, — старик говорит, — я прощаю, но ты не
услышишь.
Здесь хорошо. — Здесь хорошо?.. — Здесь хорошо?.. —
в коридорах

эхо является. — Вот, ты звал, я пришёл.
Здравствуй, отец, у нас перестроили спальни.
Мама скучает. — Сын мой, поздний, единственный, слушай,
я говорю на прощанье: всегда соблюдай благородство,
это лучшее дело живущих...

— Мама велела сказать...
— Будешь ты счастлив.
— Когда?
— Всегда.
— Это горько.
— Что поделаешь,

так нам положено.
Молча собака глядит
на беседу: глаза этой белой воды,
этой картины —
«мальчик, собака, старик».

ЖЕНСКАЯ ФИГУРА

Отвернувшись,
в широком большом покрывале
стоит она. Кажется, тополь
рядом с ней.
Это кажется. Тополя нет.
Да она бы сама охотно в него превратилась
по примеру преданья —
лишь бы не слушать:
— Что ты там видишь?
— Что я вижу, безумные люди?
Я вижу открытое море. Легко догадаться.
Море — и всё. Или этого мало,
чтобы мне вечно скорбеть, а вам —
досаждать любопытством?

ДВЕ ФИГУРЫ

Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? всё это
и больше?

Кто из них умер, кто жив
и эту плиту заказал,
памятник встречи?

Кто и кого на прощанье
хочет запомнить? не робко, не жадно. Запомнить
нужно немного, многого мы не выносим:
горсть родимой земли на чужбине — больше не нужно.
Остальное останется там, где ему хорошо.

Взгляд внимательный, смерть, ты не отнимешь —
законную горсть
у того, кто уходит, о нас печалась. Кто же уходит?
кто, соскучившись в долгой разлуке, к милой руке
наконец прикасается? —

тень к тени, бывшее к бывшему,
белое к белому. Что они там говорят?

Говорят: — Это так. — Я клянусь, это так.

— Так оно было и будет,
даже если не будет. Так.

Прохожий, люби свою жизнь,
благодари за нее. Тени мало что надо:
памятник встречи.

Ямбы (1984–1985)

ЭЛЕГИЯ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В РЕКВИЕМ

Tuba mirum spargens sonum...

1

Подлец ворует хлопок. На неделе
постановили, что тискам и дрели
пора учить грядущее страны,
то есть детей. Мы не хотим войны.
Так не хотим, что задрожат поджилки
кой у кого.

А те под шум глушилки
безумство храбрых славят: кто на шаре,
кто по волнам бежит, кто переполз
по проволоке с током, по клоаке —
один как перст, с младенцем на горбе —
безвестные герои покидают
отечества таинственные, где

подлец ворует хлопок. Караваны,
вагоны, эшелоны... Белый шум...
Мы по уши в бесчисленном сырце.
Есть мусульманский рай или нирвана
в обильном хлопке; где-нибудь в конце
есть будущее счастье миллиардов:
последний враг на шаре улетит —
и тишина, как в окнах Леонардо,
куда позирующий не глядит.

2

Но ты, поэт! классическая туба
не даст соврать; неслышимо, но грубо
военный горн, неодолимый горн
велит через заставы карантина:
подъём, вставать!

Я, как Бертран де Борн,
хочу оплакать гибель властелина,
и даже двух.

Мне провансальский дух
внушает дерзость. Или наш сосед
не стоит плача, как Плантагенет?

От финских скал до пакистанских гор,
от некогда японских островов
и до планин, когда-то польских; дале —
от недр земных, в которых ни луча —
праматерь нефть, кормилица концернов, —
до высоты, где спутник, щебеча,
летит в капкан космической каверны, —

пора рыдать. И если не о нём,
нам есть о чём.

3

Но сердце странно. Ничего другого
я не могу сказать. Какое слово
изобразит его прискорбный рай? —
Что ни решай, чего ни замышляй,
а настигает состраданья мгла,
как бабочку сачок, потом игла.

На острие чьего-нибудь крушенья
и выставят его на обозренье.

Я знаю неизвестно от кого,
что нет злорадства в глубине его —
там к существу выходит существо,
поднявшееся с горном состраданья
в свой полный рост надгробного рыданья.

Вот с государственного катафалка,
засыпана казёнными слезами
(давно бы так!) — закрытыми глазами
куда глядит измученная плоть,
в путь шедше скорбный?..
Вот Твой раб, Господь,
перед Тобой. Уже не перед нами.

Смерть — Госпожа! чего ты ни коснёшься,
всё обретает странную надежду —
жить наконец, иначе и вполне.
То дух, не приготовленный к ответу,
с последним светом повернувшись к свету,
вполне один по траурной волне
плывёт. Куда ж нам плыть...

4

Прискорбный мир! волшебная красильня,
торгующая красками надежды.
Иль пёстрые, как Герион, одежды
мгновенно выбелит гидроперит
немногих слов: «Се, гибель предстоит...»?
Нет, этого не видывать живым.
Оплачем то, что мы хороним с ним.

К святым своим, убитым, как собаки,
зарытым так, чтоб больше не найти,
безропотно, как звёзды в зодиаке,

пойдём и мы по общему пути,
как этот. Без суда и без могилы
от кесаревича до батрака
убитые, как это *нужно было*,
давно они глядят издалека.

— Так нужно было, — изучали мы, —
для быстрого преодоления тьмы. —
Так нужно *было*. То, что нужно *будет*,
пускай теперь кто хочет, тот рассудит.

Ты, молодость, прощай. Тебя упырь
сосал, сосал и высосал. Ты, совесть,
тебя едва и чудо исцелит:
да, впрочем, если где-нибудь болит,
уже не здесь. Чего не уберечь,
о том не плачут. Ты, родная речь,
наверно, краше он в своём гробу,
чем ты теперь.

О тех, кто на судьбу
махнул — и получил своё.

О тех,
кто не махнул, но в общее болото
с опрятным отвращением входил,
из-под полы болтая анекдоты.
Тех, кто допился. Кто не очень пил,
но хлопок воровал и тем умножил
народное богатство. Кто не дожил,
но более — того, кто пережил!

5

Уж мы-то знаем: власть пуста, как бочка
с пробитым дном. Чего туда ни лей,
ни сыпь, ни суй — не сделаешь полней
ни на вершок. Хоть полстраны — в мешок
да в воду, хоть грудных поставь к болванке,

хоть полпланеты обойди на танке —
покоя нет. Не снится ей покой.
А снится то, что *будет* под рукой,
что быть *должно*. Иначе кто тут правит?

Кто посреди земли себя поставит,
тот пожелает, чтоб земли осталось
не более, чем под его пятой.
Власть движется, воздушный столп витой,
от стен окоченевшего кремля
в загробное молчание провинций,
к окраинам, умершим начеку,
и дальше, к моджахедскому полку —
и вспять, как отражённая волна.

6

Какая мышеловка. О, страна —
какая мышеловка. Гамлет, Гамлет,
из рода в род, наследнику в наследство,
как перстень — рок, ты камень в этом перстне,
пока идёт ужаленная пьеса,
ты, пленный дух, изнемогая в ней,
взгляни сюда: здесь, кажется, страшней.

Здесь кажется, что притча — Эльсинор,
а мы пришли глядеть истолкованье
стократное. Мне с некоторых пор
сверх меры мерзостно претерпеванье,
сверх меры тошно. Ото всех сторон
крадётся дрянь, шурша своим ковром,
и мелким стратегическим пунктиром
отстукивает в космос: tuba... mirum...

Моей учёной юности друзья,
любезный Розенкранц и Гильденстерн!
Я знаю, вы ребята деловые,
вы скажете, чего не знаю я.

Должно быть, так:
найти себе чердак
да поминать, что это не впервые,
бывало хуже. Частному лицу
космические спазмы не к лицу.
А кто, мой принц, об этом помышляет,
тому гордыня печень разрушает
и теребит мозги. Но кто смирен —
живёт, не вымогая перемен,
а трудится и собирает плод
своих трудов. Империя падёт,
палач ли вознесется высоко —
а кошка долакает молоко
и муравей достроит свой каркас.
Мир, как бывало, держится на нас.
А соль земли, какую в ссоре с миром
вы ищете — есть та же *Tuba mirum*...

— Так, Розенкранц, есть та же *Tuba mirum*,
есть тот же Призрак, оскорблённый миром,
и тот же мир.

7

Прощай, тебя забудут — и скорей,
чем нас, убогих: будущая власть
глотает предыдущую, давясь, —
портреты, афоризмы, ордена...
Sic transit gloria. Дальше — тишина,
как сказано.

Не пугало, не шут
уже, не месмерическая кукла,
теперь ты — дух, и видишь всё как дух.
В ужасном восстановленном величье
и в океане тихих, мощных сил
теперь молись, властитель, за народ...

Мне кажется порой, что я стою
у океана.

— Бедный заклинатель,
ты вызывал нас? так теперь гляди,
что будет дальше...

— Чур, не я, не я!
Уволь меня. Пусть кто-нибудь другой.
Я не желаю знать, какой тоской
волнуется невиданное море.
«Внизу» — здесь это значит «впереди».
Я ненавижу приближенье горя!

О, взять бы всё — и всем и по всему,
или сосной, макнув её в Везувий,
по небесам, как кто-то говорил, —
писать, писать единственное слово,
писать, рыдая, слово: ПОМОГИ!

огромное, чтоб ангелы глядели,
чтоб мученики видели его,
убитые по нашему согласью,
чтобы Господь поверил — ничего
не остаётся в ненавистном сердце,
в пустом уме, на скаредной земле —
мы ничего не можем. Помогите!

Китайское путешествие (1986)

Если притупить его пронизательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим.

Лао-цзы

1

И меня удивило:
как спокойны воды,
как знакомо небо,
как медленно плывёт джонка в каменных берегах.

Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае,
смывающие свой овал с великой охотой,
ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.

2

Пруд говорит:
были бы у меня руки и голос,
как бы я любил тебя, как лелеял.
Люди, знаешь, жадны и всегда болеют
и рвут чужую одежду
себе на повязки.
Мне же ничего не нужно:
ведь нежность — это выздоровленье.
Положил бы я тебе руки на колени,
как комнатная зверушка,
и спускался сверху
голосом как небо.

Недописанная книга
(1990–2000)

БАБОЧКА ИЛИ ДВЕ ИХ

Памяти Хлебникова

1

Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут
и достроят свой чердак,
жадной злобы их не захочу я хлеба:
что другое — но не так.

Но и ты, и ты, с кем жизнь могла бы
жить и в леторасли земной,
поглядев хотя б глазами скифской бабы,
но, пожалуйста, пройди со мной!

Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?
Этот мир, как череп, смотрит: никуда, в упор.
Бабочкою, Велимир, или ещё короче
мы расцвечивали сор.

2

Бабочка летает и на небо
пишет скорописью высоты.
В малой мельничке лазурного оранжевого хлеба
мелко, мелко смелются чьи-нибудь черты.

Милое желание сильнее
силы страстной и простой.
Так быстрее, быстрее! — ещё я разумею —
нежной тушью, бесполезной высотой.

Начерти куда-нибудь три-четыре слова,
напиши кому-нибудь, кто там:
на коленях мы, и снова,
и сто тысяч снова
на земле небесной
мы лежим лицом к его ногам.

Потому что чудеса великолепней речи,
милость лучше, чем конец,
потому что бабочка летает на страну далече,
потому что милует отец.

ВАРЛААМ И ИОАСАФ

Старец из пустыни Сенаарской...
Русский духовный стих

1

Старец из пустыни Сенаарской
в дом приходит царский:
он и врач,
он и перекупщик самоцветов.
Ум его устроив и разведав,
его шлют недоуменный плач
превратить во вздох благоуханный
о прекрасной,
о престранной
родине, сверкнувшей из прорех
жизни ненадёжной, бесталанной,
как в лачуге подземельной смех.

Там, в его пустыне, семенами
чудными полны лукошки звёзд.
И спокойно во весь рост
сеятель идёт над бороздами
вдохновенных покаянных слёз:
только в пламя засевают пламя,
и листают книгу не руками,
и не жгут лампы над строками,
но твою, о ночь, возлюбленную нами,
выжимают световую гроздь.

Но любого озаренья
и любого счастья взгляд
он без сожаления оставит:
так садовник сажит, строит, правит —
но хозяин *входит* в сад.

Скажет каждый, кто работал свету:
ангельскую он прервёт беседу
и пойдёт, куда велят.

Потому что вверх, как вымпел,
поднимает сердце благодать,
потому что есть любовь и гибель,
и они — сестра и мать.

2

— Мне не странно, старец мой чудесный, —
говорит царевич, — хоть сейчас,
врач, ты подними меня с постели тесной,
друг, ты уведи от сласти неуместной.
Разве же я мяч в игре бесчестной,
в состязанье трусов и пролаз?

Строят струны, звёзды беспокоят.
Струны их и звёзды ничего не стоят,
все они отвернуты от нас.

И я руку поднимаю
и дотрагиваюсь — и при мне
рвётся человек, как ткань дурная,
как бывает в страшном сне.

Но от замысла их озлобленья
не прошу я: сохрани! —
бич стыда и жало умиленья
мне страшнее, чем они.

Мне страшнее, старец мой чудесный,
нашего свиданья час,
худоба твоя, твой Царь Небесный,
Царь твой тихий, твой алмаз.

Ветер веет, где захочет.
Кто захочет, входит в дом.
То, что знают все, темнее ночи.
Ты один вошёл с огнём.

Как глаза, изъеденные дымом,
так вся жизнь не видит и болит.
Что же мне в огне твоём любимом
столько горя говорит?

Если бы ты знал, какой рукою
нас уводит глубина! —
о, какое горе, о, какое
горе, полное до дна.

3

И как сердце древнего рассказа,
бьётся в разных языках —
не оставивший ни разу
никого пропавшего, проказу
обдувающий, как прах,

из приюта поколенья
собирающий Себе народ —
Боже правды, Боже вразумленья,
Бог того, кто без Тебя умрёт.

ХИЛЬДЕГАРДА

Патрику де Лобье

— С детских лет, — писала Хильдегарда, —
а теперь мне семьдесят, отец,
и должно быть, легкими шагами парда
из укрытья вышел мой конец —

с детских лет, когда, ещё не зная,
для кого, кому наш дар,
но встаёт душа пустая
и пугает, как пожар —

потому что это правда страшно:
сердце знает свой предел.
Подойти и взять такого брашна
сам никто не захотел! —

с детских лет до этой самой ночи,
до последней, если Бог судил,
если разум знает,
если воля хочет,
если дух непобедим —

вглядываясь в облака и крыши,
в то, чего не миновать,
в то, что минется и станет выше,
чем позволено понять, —

мир, рассыпанный на вещи,
у меня в глазах теряет вид:
в пламя, в состраданье крепкое, как клещи,
сердце схвачено,
и блещет,
как тот куст: горит и не сгорит.

ЭЛЕГИЯ ОСЕННЕЙ ВОДЫ

Памяти Сергея Морозова
и Леонида Губанова

1

Ты становится *вы*,

вы все,

они.

Над концами их, над самоубийством
долго ли нам стоять, слушая, как с вещим свистом
осени сокращаются дни?

2

Зима и старость глядят в лицо мне. Не по-людски
смелыми глазами глядят зима и старость:
нужно им испробовать, что там осталось,
на волчий зуб, на зуб уничтожающей тоски.

3

Поднимись, душа моя,

встань, как Критский Андрей говорит.

Поздно, не поздно — речь

не наша, пусть её от других услышат.

Зима и старость белое слово пишут
в воздухе ещё жарком: пламя незримых свеч

4

в темноте ещё зримой; будущие следы
на снегу, до которого долго. Серёжа, Лёня,
помните, как земля ахнет на склоне,
увидав внизу
факел предзимней воды?

5

Со старым посохом я обхожу всё те
же нивы, как всегда несжатые, тайфуны
земляного моря, слабые водные струны,
от которых холмы раскатились, в высоте

6

повторяя звук родника, похожий на... да,
молоточки какие-то, из восточных. —
То ли волосяные гребёнки во рту проточных
вод, из молчания выходящих сюда.

7

Из огня молчания в бледном огне
шелеста — бренчанья — полупенья
вниз глядит вода,
вниз идёт согбенная.
Обратясь ко мне,
кто-то говорит:
Есть ли что воды смиренней?

12

Поэт — это тот, кто может умереть
там, где жить — значит: дойти до смерти.
Остальные пусть дурят кого выйдет.

На пустом конверте
пусть рисуют свой обратный адрес.

Одолеть

13

вечное любознательство и похоть — по нам ли труд,
Муза, глядящая вымершими глазами
чудовищного коня, иссекшего водное пламя
из скалы, на которой не живут

14

ни деревья, ни звери, ни птицы. Только вы,
тонкие тени. И вы как ребёнок светловолосый,
собирающий стебли белёсой

святой
сухой
травы.

15

С этим-то звуком смотрят Старость, Зима и Твердь.
С этим свистом крылья по горячему следу
над государствами длинными, как сон,
трусливыми, как смерть,
нашу богиню несут —
Музу Победу.

чувствуя, как сыновнее предпочитают почтение
всей надежде и помощи.
И как смерть подошла



не изнутри, но требуя приказанья:

— Открыто,

войди!

И всё, что прежде: что осмеяно, оплёвано, бито,
что чужим достанется, как нешитый хитон.



А ты выбирала, безумная, жить. — Правда, любой выбирает
жить и смотреть без конца, как весна идёт, птицы играют,
птенцов выводят, колосья блестят,

шумит каменистый Кедрон...



— Я просил, — ты помнишь, Он говорил? —

что Я дам, дело другое, дело не ваше.

Я болен — кто навестил меня?

Я пить хочу — где чаша?

Лисы язвины имут и птицы гнездо, Я стучу — где мой дом?



...С огнём

или без огня удаляясь, в темноте не видна уже юродивая дева.

Я вижу внутри, в темноте, чудным гневом убитое дерево

и не вижу того, кто сказал бы ему: Поделом! —



и кто от надежды долгой и бесплодной,
от неверного утомительного труда
выбежит как сумасшедший:

вон из жизни свободной!

куда угодно,
прежде чем посох ударит со словом: Куда!



Что же делать нам, друг, что делать, брат, какое
забытьё придёт? Или оно, как факир,
выдернет из-под рваной полы стаю птиц, изумруд,
полотно золотое?

О, внутри, где их нет, они лучше.

Когда их не ждут, они лучше, чем мир.



Кто просит — однажды получит.

Кто просит прощенья —

однажды будет прощён. Кто от стыда не поднимет лица —
тот любимее всех. Сердце ему обнимает лишение,
как после долгой разлуки жениха обнимают или отца.

ЗЕМЛЯ

Сергею Аверинцеву

Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная,
земля начинает светиться, возвращая

избыток дарёного, нежного, уже не нужного света.
То, что всему отвечает, тому нет ответа.

И кто тебе ответит в этой юдоли,
простое величье души? величие поля,

которое ни перед набегом, ни перед плугом
не подумает защищать себя: друг за другом

все они, кто обирает, топчет, кто вонзает
лемех в грудь, как сновиденье за сновиденьем, исчезают

где-нибудь вдали, в океане, где все, как птицы, схожи.
И земля не глядя видит и говорит: — Прости ему, Боже! —

каждому вслед.

Так, я помню, свечку прилаживает к пальцам
прислужница в Пещерах каждому, кто спускается к старцам,

как ребенку малому, который уходит в страшное место,
где слава Божья, — и горе тому, чья жизнь — не невеста,

где слышно, как небо дышит и почему оно дышит.
— Спаси тебя Бог, — говорит она вслед тому, кто её не слышит...

...Может быть, умереть — это встать наконец на колени?
И я, которая буду землёй, на землю гляжу в изумленье.

Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,

я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?

Почему они тебе милы, или чем угодили?

— Потому что я есть, — она отвечает. —

Потому что *все мы были*.

НАЧАЛО

В первые времена, когда земледельцы и скотоводы
населяли землю, и по холмам
белые стада рассыпались,

обильные, как воды,
и к вечеру прибивались
к тёплым берегам, —

перед лицом народа, который ещё не видел
ничего подобного Медузиному лицу:
оскорбительной,
уничтожающей обиде,
после которой,

как камень ко дну,
идут к концу, —

перед лицом народа, над размахом пространства,
более свободного, чем вал морской
(ибо твердь вообще свободнее: постоянство
глубже дышит и ровней,
и не тяготится собой) —

итак, в небосводе, чьи фигуры ещё неизвестны,
не именованы, и потому горят, как хотят,
перед лицом народа

по лестнице небесной
над размахом пространства
над вниманьем холмов, которые глядят

на неё,
на первую звезду,
с переполненной чашей ночи
восходящую по лестнице подвесной, —

вдруг он являлся:

свет, произносящий, как голос,

но бесконечно короче

всё те же слоги:

Не бойся, маленький!

Нечего бояться:

я с тобой.

Это город в середине Европы,
его воздушные ворота:
кажется, Будапешт,
но великолепный вид
набережных его и башен я не увижу, и ничуть не охота,
и ничуть не жаль. Это транзит.
Музыка, это транзит.

Всё пройдет, всё пропадет, всё мягко, мягко стелет...
Но прежде усыпления,
прежде ускоряющегося соскальзывания с высоты —
знаменитый походный оркестр,
музыка Пети Ростова, которого наутро застрелят,
готовится к выходу из-за полога космической глухоты.

И каждый — её дирижёр.
Ну, валяй моя музыка! сначала эти,
как они? струнные, все вместе.

Хорошо.

Теперь — виолончель,
то есть душа моя: самый надёжный звук на свете,
не целясь попадающий в цель.

И теперь:
клёкот лавы в жерлах действующего вулкана,
стрёкот деревенского запечного сверчка,
сердце океана, стучащее в груди океана,
пока оно бьётся, музыка, мы живы,
пока ни клочка

земли тебе не принадлежит,
ни славы, ни уверенья, ни успеха,
пока ты лежишь, как Лазарь у чужих ворот,
сердце может ещё поглядеться в сердце, как эхо в эхо,
в вещь бессмертную,
в ливень, который, как любовь, не перестает.

Вечерняя песня (1996–2005)

ВСЕ ТРУДЫ...

Боковые башни, вежи, шпили,
каменная темнота.

Все труды, которые любили
или замышляли на века —

никель и дюраль, стремянки приставные
ростовщицы-высоты! —

нежные глаза Успенья и Софии,
о земля, и те закроешь ты? —

все труды, которые, как надо,
раскидает дикий вихрь...

Или вместе с нашими твои, Пощада,
руки не касались их?

ДЕРЕВНЯ В ДЕТСТВЕ

Непонятные дети, и холод, и пряжа,
конский след и неведомый снег
говорили: у вас мы не знаем, у нас же
восемнадцатый, кажется, век.

И сейчас я подумать робею,
как посмотрит глазами пещер
тридесатое царство, страна Берендея
и несчастье, несчастье без мер.

О, такое несчастье, что это, казалось,
не несчастье, а верная весть:
ничего на земле, только горе осталось;
правда — горе за горем и есть.

Это огненной птицы с узорами рая
бесконечное слово: молчи!
В рот какой же воды набирая,
мы молчим, как урод на печи?

Тени всюду мне близки, но там эти лица
собирались и ночью и днем,
приучая терпеть и молиться
или что-нибудь сделать с огнём.

И от родины сердце сжималось,
как земля под полётом орла,
и казалось не больше земли — и казалось,
что уж лучше б она умерла.

ДЕРЕВЬЯ, СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

За нами двери закрываются.
И, соблюдая темноту,
они сдвигаются, переменяются
с обычным голосом в неговорящем рту,

деревья бедные, деревья дачные,
деревья ветра, заключённого в зерно:
глаза другие, окончательно прозрачные,
и корни глубже, чем глазное дно.

Не чистый дом и не тепло с мороза,
не драгоценный разговор друзей,
нет, вы, прекрасные, — судьба без отзыва,
язык сердечных крепостей.

И они поднимаются в шёлке
над бездарным позором оград
и одни в этом смирном посёлке
ничего, ничего не хотят.

То все приплывшие на берега бесславные,
так и не знавшие про благодать,
мы поднимаем руки давние
к тому, чего не миновать.

И стоят, словно сторож их будит
колотушкой какой из стекла:
так пускай же что будет, то будет,
ведь судьба уже кверху ушла!

Или чтобы над смертью многочисленной
трамплин подбрасывал один —
вы думаете, мы за взгляд единомысленный
любое небо отдадим?

И стоят, исполняя присягу,
вызывавшую из зерна:
есть отчизна, подобная стягу,
и она до конца, как война.

И ветер, выпрямившись, режет в полосы
какой-то лампы редкий круг
и возвращает им украденного голоса
тепло и шум, и кровь и звук.

— Отец, ты видишь, всем чего-то надо.
Мне нужно милости твоей.
Или лежать, как рухлядь листопада
непроницаемых корней.

ЧЕТЫРЕ ВОСЬМИСТИШИЯ

1

В неизвестной высоте небесной,
там, где некого искать,
звёзды движутся шеренгой тесной,
продолжая влекать —

словно лезвия, полозья
их сияния обнажены —
в то, что слышат прежде всякой просьбы,
прежде всякой тишины.

2. Песенка

Мы в тень уйдём, и там, в тени,
как в беге корабля,
с тобой я буду говорить,
о тихая земля,

как говорит приречный знак,
целуя ноги рек,
как говорит зарытый клад,
забытый человек.

3

В. В. Бибихину

Кто любит слово, тот его и знает,
кто любит звук, тому он и звучит:
как в алмазде луч, петляет и бряцает
внезапным росчерком ирид.

И в светлом облаке звучанья
его вознаградит сполна
царей и царств земных напрасное мечтанье,
возлюбленная тишина.

4. И не как свет

Памяти...

«и не как свет умерших звезд доходит» —
как хорошо: и не как свет.
И не как голос по каморкам слуха бродит,
и голос жив, а говорящий — нет,

не как навязчивое наважденье,
не как боготворимый след —
нет, вы являетесь, как первое движенье
руки, перевернувшей свет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

АНГЕЛ РЕЙМСА

Франсуа Федье

Ты готов? —
улыбается этот ангел —
я спрашиваю, хотя знаю,
что ты несомненно готов:
ведь я говорю не кому-нибудь,
а тебе,
человеку, чьё сердце не переживёт измены
земному твоему Королю,
которого здесь всенародно венчали,
и другому Владыке,
Царю Небес, нашему Агнцу,
умирающему в надежде,
что ты меня снова услышишь;
снова и снова,
как каждый вечер
имя моё вызыванивают колоколами
здесь, в земле превосходной пшеницы
и светлого винограда,
и колос и гроздь
вбирают мой звук —
но всё-таки
в этом розовом искрошенном камне,
поднимая руку,
отбитую на мировой войне,
всё-таки позволь мне напомнить:
ты готов?
к мору, гладу, трусу, пожару,
нашествию иноплеменных, движимому на ны гневу?
Всё это, несомненно, важно, но я не об этом.
Нет, я не об этом обязан напомнить.
Не за этим меня послали.
Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью?

L'ANGE DE REIMS

à *François Fédier*

Es-tu prêt?
sourit cet ange —
je pose la question, bien que je sache:
sans aucun doute tu es prêt;
car ce n'est pas au premier venu que je parle,
mais à toi,
homme dont le cœur ne souffrira pas qu'on trahisse
ton roi terrestre
qui devant tout le peuple était ici couronné,
ni l'autre souverain,
le Roi des Cieux, notre Agneau,
mourant dans l'espérance qu'à nouveau tu m'entendes;
encore et encore,
comme tous les soirs,
les cloches appellent mon nom,
ici, en cette terre où croît le bon froment
avec le raisin blond,
et l'épi et la grappe
s'abreuvent de mon timbre.

Mais quand même,
dans cette pierre rose qui s'effrite,
levant le bras,
que la grande guerre m'a arraché,
quand même, laisse-moi te rappeler:
es-tu prêt?
pour la peste, pour la faim,
les tremblements de terre, le feu, l'invasion des barbares,
le déferlement des fureurs?
sans doute, tout cela est grave, mais je ne parle pas de cela.

Non, ce n'est pas cela qu'il me faut rappeler.
Ce n'est pas pour cela que l'on m'a envoyé.
Je dis:
es-tu
prêt
pour l'incroyable bonheur?

(traduction Philippe Arjakovsky)

[Une remarque avant d'aborder ce poème: l'énumération des calamités, aux vers 26 et 27, cite le texte slavon de l'Office orthodoxe de Bénédiction. De même, aux vers 8 et 11, le nom du "roi" terrestre est en russe, alors que celui du "Roi des Cieux" apparaît en slavon.]

DER ENGEL VON REIMS

für François Féder

Bist du bereit?
lächelt dieser Engel –
ich frage, obwohl ich weiß,
dass du ohne Zweifel bereit bist:
Doch nicht zu irgendeinem spreche ich,
sondern zu dir,
Mensch, dessen Herz nicht übersteht den Verrat
an deinem irdischen König,
den sie hier krönten vor aller Welt,
und an jenem anderen Herrscher,
dem Zaren des Himmels, unserem Lamm,
das stirbt in der Hoffnung,
dass du mich wieder vernimmst;
wieder und wieder,
wie jeden Abend

sie meinen Namen vernehmen lassen mit Glockengeläut
hier, in der gedeihlichen Erde des Weizens
und des lichten Weinstocks,
und Ähre und Traube
saugen ein meinen Klang –

und dennoch,
in diesem zerbröckelten rosa Stein
mit der erhobenen Hand,
die der Weltkrieg zerschlug –
dennoch erlaube mir zu mahnen:

Bist du bereit?

Für Pest, Hungersnot, Erderschütterung, Feuersbrunst,
für fremder Stämme Einfall, wallenden Grimm?
Gewiss: all das ist wichtig – aber nicht davon rede ich.
Nein, nicht daran zu mahnen bin ich verpflichtet.
Nicht dafür schickten sie mich.

Ich sage:

Bist du

bereit

für unvorstellbares Glück?

(Übers. Ugo de Gennaro)

THE ANGEL OF REIMS

for François Fédiér

Are you there?
— The angel is smiling
I ask, though I know
That you are surely there
For I talk not just to anyone
But to you
A man whose heart shall never bear the treason

Of your earthly King,
Crowned here by his people
And of that other Lord
The King of Heavens, Our Lamb
Dying in hope
That you will hear me again;
Again and again
As every evening
My name's being told and sung
Here, in the land of the splendid wheat
And of the light vine,
The ear and grapes
Drink in my sound –
But nevertheless
In this rose and crumbling stone
Raising my arm
That was broken off in the war
Let me remind you:
Are you there
For plague, for hunger, for fire,
For invasions of others, for the justice of Heavens?
All that is important, but it isn't the point.
That's not what I am to remind you
That wasn't the reason they sent me.
I say
Are you
There
For the unbelievable happiness?

(Transl. by Xenia Golubovich)

L'ANGELO DI REIMS

A François Fédier

Sei pronto? —
L'angelo sorride —
lo chiedo, anche se sa
che certo tu sei pronto:
non parlo a chissa chi,
ma a te,
uomo il cui cuore non sa cosa sia il tradimento
verso il tuo Sovrano terreno,
che qui coram populo fu incoronato,
e verso un altro Signore,
il Re dei cieli, il nostro Agnello,
che muore nella speranza
che tu di nuovo mi oda:
e ogni giorno di nuovo,
e ogni sera
il mio nome rintocca nello scampanio
qui, in terra di superbo frumento
e uva luminosa,
e la spiga e il grappolo
assorbano il mio suono —

ma tuttavia
in questa rosea pietra sgretolata,
levando il braccio
scheggiato dalla Guerra mondiale,
consenti mi tuttavia ricordarti:
sei pronto?
Alla peste, alla fame, al terremoto, al fuoco,
All'incursione dei nemici, all'ira che si abate su di noi?
Certo, e tutto importante, ma non e di questo che voglio parlarti.

Non e questo che ho il dovere di rammentarti.
Non per questo sono stato inviato.

Io ti dico:
tu
sei pronto
a una felicità incredibile?

(Trad. Giovanna Parravicini)

DE ENGEL VAN REIMS

Voor François Fédiér

Ben je klaar? —
glimlacht deze engel —
ik vraag het, al weet ik
dat je ongewijfeld klaar bent:
want ik spreek niet tot zomaar iemand,
maar tot jou,
een mens, wiens hart geen verraad kan verdragen
aan jouw aardse Koning,
die hier gekroond werd ten overstaan van het volk,
en aan die andere Heerser,
de Hemelse Koning, ons Lam,
stervend in de hoop
dat jij mij opnieuw zult horen;
opnieuw en opnieuw,
zoals elke avond
luidende klokken mijn naam laten galmen
hier, in het land van uitmende tarwe
en goudgele druiven,
waar tros en aar
mijn geluiden opnemen —

maar niettemin,
in deze roze verpulverde steen,
hef ik mijn hand,
afgeslagen in de wereldoorlog,
niettemin, sta mij toe te herhalen:
ben je klaar?

Voor massasterfte, hongersnood, aardbeving, brand,
Invallen van vreemdelingen, woede tegen ons gericht?
Dit alles is ongetwijfeld belangrijk, maar niet hierover

Spreek ik.

Nee, niet hieraan hoef ik te herinneren.
Niet hiervoor ben ik gezongen.

Ik zeg:
Ben je
Klaar
Voor ongelofelijk geluk?

(Vertaling: Gents Collective van Poezievertalers)

АНЂЕО РЕЈМСА

За Франсоа Феџеа

Јеси ли спреман? —
смеши се тај анђео —
питама, иако знам
да си свакако спреман:
јер не говорим било коме
него теби
човеку чије срце неће преживети издају
твог земаљског Краља
којег су овде свенародно овенчали

и другог Владике,
Цара Небеског, нашег Агнеца
који умире у нади
да ћеш ме поново чути;
опет и опет
као сваке вечери
име моје одјекује у одбоју звона
овде у земљи изврсне пшенице
и светлога грожђа
и клас и грозд
упијају мој звук —

ипак,
у овом ружичастом измрвљеном камену
подижући руку
откинуту у светском рату,
ипак, дозволи да те подсетим:
јеси ли спреман?
за помор, глад, потрес, пожар,
најезду туђинаца, гнев који ваља се к нама?
Све је то, несумњиво, важно, ал не говорим сад о томе.
Не, није моје да те на то подсећам.
Нисам зато послан.
Кажем:
јеси ли
спреман
за невероватну срећу?

(Превод Злата Коцић)

СОДЕРЖАНИЕ

НАЧАЛО КНИГИ

Три стихотворения	
1. Дождь	7
2. Ничто	8
3. Sant alessio. Roma	9
Письмо	11
Колыбельная	13
Портрет художника в среднем возрасте	14
В метро. Москва	15
Цивилизация	16
Луг, юго-западный ветер	17
Aut nihil	18
Ангел Реймса	19
Всё, и сразу	21

НАЧАЛА. КНИГИ

<i>До книг. Школьные тетради (1965–1967)</i>	
«Это опять беспокойство...»	25
Алексей римский угодник	26
«Однажды, когда я умру до конца...»	27
<i>В горсть твою (1967–1969)</i>	
Шиповник	28
<i>Переводные картинки (1969–1970)</i>	
«Пить, пить! водяные часы...»	29
«Я жизнь в порыве жить...»	30
<i>In quarto (1972)</i>	
Подражание «Подражаниям Корану»	31
<i>Клязьма и Яуза (1973)</i>	
«В это зыбкое скопление...»	32
«Неужели, Мария, только рамы скрипят...»	33
Гости в детстве	34
<i>Строгие мотивы (1974–1975)</i>	
Плач	35
Памяти одной старухи	36
Филемон и Бавкида	37

<i>Дикий шиповник. Легенды и фантазии (1978)</i>	
Дикий шиповник	38
Легенда вторая	39
Легенда шестая	40
<i>Тристан и Изольда (1978–1982)</i>	
Вступление первое	41
Вступление второе	43
Вступление третье	45
<i>Старые песни. Первая тетрадь (1980–1981)</i>	
Обида	47
<i>Вторая тетрадь (1982)</i>	
Смелость и милость	48
<i>Третья тетрадь</i>	
«Пойдём, пойдём, моя радость...»	49
<i>Прибавления к «Старым песням» (1990–1992)</i>	
Посвящение	50
«Плакал Адам, но его не простили...»	51
«Холод мира...»	52
<i>Ворота. Окна. Арки (1979–1983)</i>	
Давид поёт Саулу	55
Семь стихотворений	57
Горная ода	60
<i>Стансы в манере Александра Попа (1979–1980)</i>	
Стансы первые	62
Стансы вторые. На смерть котёнка	66
Стансы третьи. Вино и плавание	69
Стансы четвертые. Памяти Набокова	72
Кода	76
<i>Стелы и надписи (1982)</i>	
Мальчик, старик и собака	77
Женская фигура	78
Две фигуры	79
<i>Ямбы (1984–1985)</i>	
Элегия, переходящая в реквием	80
<i>Китайское путешествие (1986)</i>	
1. «И меня удивило...»	87
2. «Пруд говорит...»	87
3. «Падая, не падают...»	88
<i>Недописанная книга (1990–2000)</i>	
Бабочка или две их	89
Варлаам и Иоасаф	91
Хильдегарда	93

<i>Элегии (1987–2004)</i>	
Элегия осенней воды	95
Элегия смоковницы	99
Земля	102
Начало	104
Музыка	106
<i>Вечерняя песня (1996–2005)</i>	
Все труды... ..	108
Деревня в детстве	109
Деревья, сильный ветер	110
Четыре восьмистишия	112
ПРОДОЛЖЕНИЕ	117

С 28

Седакова О.

Всё, и сразу. Книга стихотворений.

— СПб.: «Пушкинский фонд», 2009. — 132 с.

ISBN 978-5-89803-200-5

ББК 84. Р7

Седакова Ольга Александровна

Всё, и сразу.

«Пушкинский фонд», СанктПетербург, 2009

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, СанктПетербург, Набережная р. Мойки, 12

ПУШКИНСКИЙ ФОНД